«БОЖЕ, ПРИБЛИЗЬ ПОБЕДУ...»

Семён Пегов — военкор. Он воюет с 2014 года. Он шёл дорогами войны вместе с Захарченко, Моторолой, Гиви, Мозговым. Его репортажи — это честный рассказ о сегодняшней грозной войне в Донбассе. Но это рассказ не только журналиста, но и поэта. В его стихах — лязги танковых гусениц, хрипы штурмовиков, молитвы новобранцев. Его любовная лирика — в кровавых бинтах и пороховых дымах.

Александр ПРОХАНОВ

КОНИ

Конным и не хитрым бытом
Дремлет табор над рекой
Кони чувствуют копытом
Тоньше чем любой другой
Тоньше чем сапёр и лучник
И способны впопыхах
Подарить надежды лучик
Ярче облака в штанах
Коневодство
конокрадство
Было распространено
Когда рвались
узы братства
И стучалась смерть в окно
Револьверов революций
Спутники но не сыны
Золотых ценнее унций
Бьют копытом
прямо в сны
Их кураж живоначальный
(Здесь уж точно мне видней)
Побеждает день печальный
Снова прожитый не с ней

ДЮНЫ

Кто же в конце концов убьет
между нами распри
— Олово Балтики
или упрямый Каспий?

Кто нам позволит в празднике
быть и в горе
— Белое море? Чёрное море?
Где мы сольёмся душевно,
сольёмся плотски?
В Азовском море или в Охотском?

Где мы на дно упадём, где будем
грести в подъёмы,
Изучая все горы,
все окрестные
водоёмы?

Что скажешь, южанка моя и мой
трофей?
Я не забыл о тебе
ни в одной строфе…

Правда, мучал молчаньем язык и
челюсть,
Надеясь на скорую встречу, на
встречу через

Мгновенье, после того
как с тобой
расстался…
Расквартировался в дюнах и жду
приказа

Наполнить тебя словами,
наполнить себя игристым,
Жду команды, родная, идти на
приступ!



ДЮНЫ (2)

В пожилом городке, где вместо
гостиниц кирхи,
Я вспоминаю укусы твои, твои
неземные крики —
Когда точно в бреду,
ты в страсти
ночной металась,
Несмотря на мою усталость,
твою усталость…
И пускай — ты болезнь и часто
бываешь язвой
Я не ждал тебя, точно погоды
ясной,
Но внезапно ты стала
просачиваться через поры,
Взламывать мою линию обороны,
И пока моё эго,
как смета времен
раздуто,
Ты идёшь напролом, ломаешь
мои редуты —
И я знаю одно, ты когда-то
приедешь ко мне сюда.
По оловянным волнам рыбачьи
скользят суда…

ДЮНЫ (3)

Что август? Божий инвентарь,
Как циферблат, как будни пёсьи,
Калейдоскоп картинок пёстрых,
Навзрыд разбросанный янтарь
Вношу пометки в календарь
Там между строк легко и просто
Пространство вшито
и позёрство
Рутины вшит живой хрусталь
И отодвинув время плавно
За неименьем чётких планов
Любовь моя и мой алтарь
Звенят во мне, подобно струнам,
И вихрем носится по дюнам
Земли и неба Государь.

В ПОХОД

1.
Ты — шамаханка моя
в заключеньи
скифском.
Я начинаю утро кумысом, а ты —
игристым.

Завтра мне снова в поход за
добычей дива,
Я в настроеньи имперском,
а ты —
в игривом.

И терзая тебя, целуя твою
поверхность,
Я как могу тебе сохраняю
верность.

С каждым разом любовь ускоряет
разлуки шаг —
По ночам от неё нас терзает с
тобой сушняк.

Сколько хочешь потом зуб на неё
точи,
Мои танки уже загружены на
тягачи —

Так уж угодно Богу, а не этим
твоим богам.
Я закрываю глаза, улыбаюсь,
ловлю мугам.

В тьмутаракани,
где вражьи полки
кишат,
Никто не напоит тобой меня из
ковша

И поэтому ценен
каждый не миг —
глоток,
Даже если из страсти нашей не
выйдет толк

И мой табор ускачет пылью в
чужой закат,
Я всё равно вернусь, выполню
твой заказ —

Нет, не алый цветочек,
а стихов в
сундуках жасмин,
Чтобы, завидев меня,
ты решила:
"Я буду с ним".

2.
Ну и зачем разговор откладывать
в долгий ящик?
Сколько судеб сменил, сколько
ячеек спящих —

Свёрнутых в блиндажи, без
надежд на былую роскошь —
Оборонявших Воронеж, Старый
Оскол и Россошь,

Сколько таких к ожидающим в
небе семьям
Я проводил по вспаханному
черноземью
Брюхо земное резали здесь не
плугом
Каждый из них становился
братом и вечным другом

Каждого я потом целовал на
прощанье в темя
Боже, приблизь Победу, у
мальчишек уходит время

И об этом давно они на весь мир
трубят —
Ждите, девчонки, ждите своих
ребят

Они скоро придут
и зароют беды
штык-нож
Ты обнимешь меня,
потому что ты
тоже ждёшь

Запах твой,
как Победа, изменит
любой пейзаж
Завтра в газете напишут, что
Космос наш

ПО СТАРОЙ СМОЛЕНСКОЙ

Из камышей (каких навалом)
Почти за насыпью самой
Дорога пахла самопалом
И огнестрельною судьбой
По ней разбойно и лихача
Железа бегали ручьи
Ползли войны хромые клячи
Пекли на углях куличи
Из чрева Родины исконной
(Из той страны что за окном)
Дорога скатертью суконной
Стелилась щедрая сукном
Над ней парили дирижабли
Её утаптывал сапог
Едва дыша
(вообще дышав ли?)
По ней перемещался ток
Наречий сказочно-дремучих
(Упрямо их сюда влекло —
Где столько
экземпляров штучных
В сырую землю утекло)
Клубились тучи кучевые
Стирало время каблуки
И только птицы кочевые
Юродивые и дураки
Способны сердцем раскаляясь
Не источиться как родник
Оберегая точно кладезь
Всё то, что послано на миг

Семён ПЕГОВ

УЖЕ НАПИСАН «ЛЕМНЕР»

Об «имперском сюрреализме» Александра Проханова

КАЖДЫЙ большой художник, замахивающийся на создание национального мифа, неизбежно сталкивается с пугающим парадоксом: за монументальным фасадом сильного государства вдруг обнаруживается тотальное, космическое сиротство. Александр Проханов показывает, что империя — при всём обилии её священных ритуалов и грозных манифестов — лишена укрывающего, тёплого женского начала. В ней есть алтари и судии, но нет Хранителя — самой Богородицы-Матери, чьим Покровом можно было бы согреть и сшить разорванную ткань бытия. Православие и ценности здесь присутствуют как строгая, трагическая форма, но человеку и государству в этот момент не на что опереться изнутри — живые корни подменены механикой кукольного театра. Чтобы выразить этот запредельный метафизический надлом, реалистического языка не хватает. Здесь рождается особый жанр — пограничное измерение, в котором авторы разных эпох пытаются нащупать утраченную почву.

Это измерение — "имперский сюрреализм", где история разыгрывается как религиозный фарс и священная симфония одновременно. Точно так же Николай Гоголь, видя парадный имперский фасад и мёртвые души чиновников-автоматов, задыхался в рамках прозы и назвал своё творение поэмой — мистическим пророчеством о несущейся в буране тройке. И точно так же, как при выходе "Мёртвых душ" или сатирических хроник Салтыкова-Щедрина, вокруг Проханова мгновенно сбилась стая близоруких "расшифровщиков" — от западных советологических кликуш до наших записных телепублицистов. Одни по старой советской привычке выискивают в книге крамольные подтексты, другие читают роман с тупым апломбом некомпетентности ("а я в нём вижу такого-то!"), а третьи — из банальной литературной зависти — просто пытаются утопить большого художника.

В этой же системе координат Алексей Балабанов создавал свой метафизический реализм ("Груз 200", "Я тоже хочу"): его мир залит крестными знамениями и пронизан поисками Бога, но герои остаются безродными сиротами на фоне обветшалых колоколен и индустриального ада. Габриэль Гарсиа Маркес через магический реализм рифмовал вековое одиночество абсолютной власти с бесплодием угасающего рода. А Фрэнсис Форд Коппола в своём "Апокалипсисе сегодня" переносил этот психоделический нерв западного эпоса в джунгли, превращая войну за ценности в ритуальный танец марионеток. Все они ищут уникальную жанровую форму: небывалую мистическую драму, способную сквозь кровавую литургию и гротеск вернуть государству и человеку их подлинные, живые корни.

Поиск национального мифа — это не кабинетная сборка смыслов. Это всегда сакральная хирургия, требующая доведения реальности до абсолютного, звенящего абсурда. Чтобы ожить, миф обязан пройти через ритуал распада. Художник сознательно выкручивает накал гротеска на максимум, срывая бутафорский фасад официальных ценностей, чтобы обнажить под ним кровоточащую рану космического сиротства. Зачем мифу этот шок? Зачем Проханов превращает геополитику в "литургию на крови", а Балабанов загоняет целую эпоху в тлеющий, безумный индустриальный ад?

Затем, что миф подчиняется древнейшему закону: нельзя воскреснуть, не погибнув до конца. Абсурд — это алхимическая стадия тотальной черноты, точка абсолютного нуля, где имперское тело должно быть разорвано бураном и превращено в театр механических марионеток. Только когда фальшивые, мёртвые ритуалы доведены до финального тупика, из самого чрева катастрофы рождается яростный, голодный запрос на чудо. Настоящий национальный эпос пишется не о сытом благополучии, а о прорыве сквозь ад в поисках спасительных корней.

И здесь пора наших западных оппонентов и их отечественных подпевал ткнуть носом в их собственное лицемерие. Вспомните, с каким восторгом европейские жюри и либеральная критика носили на руках "Левиафана" Андрея Звягинцева! Они упорно отказывались видеть в фильме библейскую притчу об Иове, с наслаждением читая его как плоский политический памфлет и обличение русской власти. Когда Ларс фон Триер в "Догвилле" выстраивает условный театральный помост, чтобы показать звериную природу общества, или когда Паоло Соррентино в "Лоро" превращает итальянскую политику в барочный, развратный карнавал марионеток, — Запад аплодирует высокой метафизике. Но стоит Александру Проханову применить ту же безжалостную оптику гротеска к нашей истории, как западные снобы и домашние охранители в один голос начинают визжать либо о "чернухе", либо о "политическом заказе". Они просто разучились читать притчу.

А в это самое время, пока тектонические плиты бытия трещат и человеческое мясо засасывает в шестерни мистической госмашины, на авансцену выползает самый потешный слой нашего театра марионеток — политические аналитики и эксперты. Вот уж где абсурд достигает своего стерильного апогея, ведь эти люди пытаются измерить космический буран истории кухонным термометром. Когда империя заходится в кровавой литургии, аналитики открывают свои гроссбухи и начинают чертить графики, замеряя рейтинги там, где нужно фиксировать уровень подземного гула, и рассуждая о "транзите власти" или "электоральных трендах", пока вокруг воет экзистенциальная метель и рушатся небеса. Гоголь бы рыдал от умиления, глядя на современных политологов, ведь для них метафизическое сиротство нации — это просто "внутренний трек, требующий корректировки информационной повестки", а отсутствие Богородичного Покрова — "недостаточная эффективность грантовой поддержки".

Официоз и испуганная пресса, трусливо безмолвствовавшие перед лицом тектонического сдвига, сдали поле боя медийным охранителям, и телепублицисты вроде Бориса Якеменко и Армена Гаспаряна с наслаждением устроили роману настоящую публичную казнь. Но они — не литературные критики, и в этом их главная беда, их глухота, их слепота, ведь густая конъюнктурная пелена сплошь застлала им глаза. Они с остервенением накинулись на "Лемнера", обвиняя Проханова в "очернении действительности" и выискивая в тексте крамолу, требуя от художника за занавеской кукольного театра верности партийным циркулярам, но не увидели, что книга написана совершенно не о том. Им вторили и хор растерянных рецензентов в соцсетях, клеймивших книгу как "графоманию" с нулевой художественностью, и охранительские кликуши с телеэкранов, слившись в едином экстазе непонимания. В этой позорной суете, когда под давлением перепуганных чиновников Московский дом книги в панике отменял презентацию романа, живая метафизическая суть прохановского пророчества была наглухо замурована под толщей обывательского страха. Марионетки не видят нитей и упаковывают пугающую мистическую стихию в пластиковые контейнеры "политических технологий", искренне веря, что управляют процессами, пока сам театр уже горит с четырёх сторон.

Надо раз и навсегда провести эту чёткую, весёлую черту: профессиональный литературный критик — будь то даже хрестоматийный, беспощадный античный Зоил — коренным образом отличается от политического аналитика. Разница здесь в самих инструментах ремесла. Наш уважаемый древнегреческий коллега Зоил, когда с пеной у рта громил Гомера за нелепости, всё же препарировал поэтику, гекзаметр и миф и судил художественную вселенную, не покидая рамок литературы, а не выискивал в "Илиаде" маркеры лояльности троянскому пулу или подрыва авторитета ахейских вождей. Нынешние же маститые зубры политического анализа привыкли работать на совершенно других скоростях: их стихия — это суровый факт и баланс сил. Но когда эта серьёзная политологическая линейка накладывается на живую художественную ткань, начинается чистая комедия условностей. Эта пелена сыграла с ними злую шутку — она просто закрыла от них вечность, превратив грозную мифологическую мистерию Проханова в банальный, пусть и громкий, привокзальный памфлет.

Вячеслав Сухнев спокойно, с высоты своего шестидесятилетнего литературного опыта, бьёт наотмашь фундаментальным тезисом: "Перед нами — Лемнер на кресте своего собственного яростного мятежа! Это не крест Спасителя, это суровый крест разбойника, метафорическая плаха, на которую история всегда отправляет бунтовщиков калибра Степана Разина или Емельяна Пугачёва. Проханов вывел эсхатологическую русскую трагедию о распятом бунте, оставленном замерзать в бескрайней русской метели под улюлюканье медийных палачей!"

Сам Александр Андреевич в блестящем интервью Максиму Шевченко расставил все точки над i с обезоруживающей ясностью: "Сказка ложь, да в ней намёк" — и этот намёк должен быть понятен даже дуракам. Чтобы читать "Лемнера", не нужно рыться в кулуарных сплетнях — достаточно знать реальную историю Советского Союза, кровавые изломы Европы и древние трагедии Азии. Везде, где власть отрывается от живой почвы и превращается в самодовлеющий механизм, разворачивается один и тот же архетипический сюжет. И не вина художника, если у кого-то из нынешних рецензентов хватает кругозора только на то, чтобы выискивать в большой литературе портреты знакомых чиновников.

Но сквозь этот техногенный шум многие расслышали глубинную суть романа, ведь такие авторы, как Сухнев, Шарко и их соратники по сетевой полемике, совершили настоящий критический подвиг: они бесстрашно сопоставили барочную избыточность "Лемнера" с магическим реализмом Маркеса и концептуальным гротеском раннего Пелевина. Именно эти люди в соцсетях сегодня спасают нашу литературу от забвения, доказывая, что русская мысль жива и совершенно не нуждается в высочайшем одобрении. Если бы критики из соцсетей искали подлинного профессионального оппонирования, за этим столом должны были бы сидеть мастера совершенно иного калибра. Профессионально противостоять критической слепоте медийщиков здесь призваны Павел Басинский, зоркий Михаил Трофименков, наследники большой русской традиции гротеска — от Салтыкова-Щедрина и Булгакова до Андрея Платонова — и, конечно, Тимур Зульфикаров, чей пророческий поэтический вопль в статье "Брат Данте" нанёс сокрушительный удар по когорте близоруких "политикоманов".

И разве не то же самое произошло с Алексеем Балабановым? Пока сытая, заплывшая жиром пресса плевалась от "некрофилии" в "Грузе 200", философ Михаил Трофименков бесстрашно прокричал на всю страну, что Балабанов снял не чернуху, а чистую античную трагедию, мифологическую мистерию о гибели советской цивилизации, где в затхлой хрущёвке заживо гниёт сам дух эпохи под мёртвый стук конвейера! Эти настоящие критики никогда не искали в шедеврах того, чего там нет, — они не выслуживались перед редакторами, а бесстрашно высвечивали то изначальное, страшное и прекрасное пламя, которое авторы закладывали в фундамент своих миров.

"Лемнер" обнаруживает глубочайшее родство с прозой Николая Гоголя и Габриэля Гарсиа Маркеса. У Гоголя Проханов заимствует механику превращения живого государства в заплесневелый натюрморт — его мир напоминает засохший сад, где искренние человеческие чувства покрылись коростой, а государственные институты стали мёртвыми вещами, претендующими на управление живыми людьми. Гоголь исследовал деградацию русской души через измельчание, превращение её в табакерку. Проханов подхватывает барочную эстафету: у него империя точно так же теряет связь с землёй, замыкается в изолированном пространстве властного Морока.

И ведь история движется по кругу! Всегда находились те, кто пытался содрать с великих текстов живую кожу, и те редкие провидцы, кто видел суть. Когда Гоголь развернул свои "Мёртвые души", либеральный и консервативный бомонд дружно закричал о карикатуре. Но явился Аполлон Григорьев и зафиксировал: Гоголь написал великую эпическую поэму, где за уродливыми масками Плюшкиных бьётся и кровоточит живая, неизбывная русская душа, тоскующая по сакральному Логосу. А как хлестали Габриэля Гарсиа Маркеса за "Осень патриарха"? Газетчики упрямо искали там карикатуру на Франко или Пиночета, но великий латиноамериканский критик Анхель Рама сразу разглядел истину: Маркес создал не политический памфлет, а грандиозную барочную поэму о тотальном одиночестве человека, о власти как о зловещей галлюцинации, пожирающей саму себя.

Именно это пламя полыхает и в "Лемнере". Подобно тому как в "Грузе 200" затхлая хрущёвка становится склепом для уходящей советской империи, так и в вымышленном пространстве Проханова совершается страшный метафизический подлог, когда искалеченная Доля персонажей закономерно перерождается в карающую Недолю, и наш балабановский взгляд позволяет сорвать со священного пепелища текста пласты дешёвой газетной чернухи и явить миру главное — безжалостную мистерию великого распада, где из набегающего ледяного бурана плетётся саван для бытия, потерявшего свои родовые корни. Их родовая Доля в этом выхолощенном мире не просто изуродована — она закономерно переродилась, обернувшись своей тёмной, карающей изнанкой. Калека-Доля сама стала для героев их Недолей, их персональным Злосчастьем. Эта Недоля больше не ткёт живую ткань бытия — она плетёт для него саван из набегающего бурана. Она заменяет связь с землёй техногенным шумом и бутафорским блеском.

Оставляя героев один на один с этой карающей Недолей, Проханов обнажает самую пронзительную суть своего вымышленного пространства — тотальное, космическое сиротство. Истинный ужас романа заключается в том, что эта разрываемая бураном империя полностью лишена укрывающего, созидательного женского начала. В ней нет своего Хранителя — условной Мокоши, которая была бы способна сшить воедино окровавленные лоскуты разорванных эпох, согреть человека в метафизической метели и вернуть ему память о предках. Все персонажи книги действуют в безвоздушном пространстве ампутированных корней. Мужское, агрессивное, насильственное начало в романе доведено до абсолюта — оно строит баррикады, взрывает и штурмует дворцы, но органически не способно к деторождению и исцелению. Восстание Лемнера предстаёт инфантильным, яростным и глубоко несчастным криком подкинутого ребёнка, который бьёт посуду в доме просто потому, что не знает своей матери. Без Хранителя, без обретения подлинного, живого голоса правды любая попытка спасти империю силой оружия превращается в бессмысленное перекладывание мёртвых костей. Проханов оставляет свой балаган замерзать в бескрайней русской метели именно потому, что корни его героев сожжены, а ткань бытия уже некому сшивать.

Этот жанр бессмертен, потому что его читатель и зритель — это всегда общество, переживающее фундаментальный надлом, катастрофическую потерю смыслов. В кинематографе Фрэнсиса Форда Копполу за "Апокалипсис сегодня" упрекали в гигантомании и чрезмерной жестокости, отказываясь видеть за безумием в джунглях грандиозное крушение западной цивилизации. Современные цензоры, бездумно изымающие "Лемнера" из магазинов, лишь повторяют этот заезженный сценарий глухоты. Но избыточный гротеск ломает стерильное клиповое восприятие, заставляя заглянуть за картонные декорации. Когда реальность распадается, только такой безжалостный площадной фарс способен зафиксировать диагноз эпохи. И пока человечество будет пытаться излечить внутреннюю пустоту насилием, сталкивая один Морок с другим, этот балаган вечности будет собирать полные залы, напоминая о том, что без возвращения к сакральным истокам любая литургия неизбежно останется пляской марионеток на крови.

Но именно в этом беспощадном огне кроется тайна прохановского пророчества. Герои Проханова, Балабанова, Гоголя и Копполы не просто ломаются — они сгорают дотла, до хруста, превращая свой пепел в фундамент для будущего Воскресения. По-балабановски и по-прохановски спасение невозможно купить, его нельзя сымитировать правильными лозунгами или парадными крестными ходами. И прохановская воскресающая империя, и балабановская колокольня требуют одного и того же — сожжения фальши ради обретения подлинной, выстраданной почвы. Из пепла этих одиночек рождается национальный миф — миф о том, что сквозь ад, абсурд и космическое сиротство человеческая душа и истерзанная земля всё-таки прорвутся к своему Покрову и обретут утраченные корни.

Лариса СОЛОВЬЁВА